

Двое выживших – минус один



Дмитрий Амелин

Двое выживших - минус один

«Автор»

2026

Амелин Д. А.

Двое выживших - минус один / Д. А. Амелин — «Автор», 2026

Среднее Поволжье, лето 1941 года. Трое друзей идут купаться на речку. Начинается бомбардировка. Один из мальчиков исчезает в воде, двое других спасаются в лесу. Матвея считают погибшим. Но тело так и не находят. После войны Миша и Лёха пытаются жить обычной жизнью: учёба, работа, любовь, семьи. Но спустя годы прошлое возвращается. Сначала — странными знаками. Потом — смертью одного из них. Оставшийся в живых понимает: тот, кого они похоронили в памяти, всё это время ждал. И теперь пришёл за ними.

© Амелин Д. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Речка	5
Глава 2. Чёрное небо	9
Глава 3. Двое	15
Глава 4. Когда их было трое	21
Глава 5. Стук.	28
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Дмитрий Амелин

Двое выживших - минус один

Глава 1. Речка

Лето в Среднем Поволжье пахло пылью, нагретой травой и речной тиной.

К полудню деревня словно проваливалась в сон. Куры прятались в тени под плетнями, собаки лежали на боку и лениво щёлкали зубами на мух, а старики, сидевшие у ворот, говорили тише обычного, будто боялись спугнуть тяжёлую июньскую жару. Над крышами дрожал воздух. Далеко за огородами, за тёмной полосой ивняка, блестела речка — узкая, местами заросшая камышом, но для деревенской ребятни самая настоящая, широкая, бескрайняя, почти морская.

Миша первым выскользнул со двора.

Мать велела ему после обеда перебраться картошку в сених, но до обеда было ещё «целых полчаса», а полчаса летом — это почти вечность, если бежать быстро и не оглядываться. Он сунул за пазуху ломоть хлеба, посыпанный крупной солью, босыми пятками перескочил через горячую пыль дороги и свистнул в два пальца у соседнего забора.

Из-за сарая тут же высунулась рыжая голова Лёхи.

— Ты чего орёшь? — прошипел он, хотя сам улыбался во весь рот. — Мать услышит — не пустит.

— А ты не стой, как пень, — сказал Миша. — Матвей где?

— У колодца. Ведро таскает. Сейчас отбредётся.

Лёха перелез через забор так ловко, будто родился не человеком, а каким-нибудь дворовым котом. На нём были короткие штаны, давно потерявшие цвет, и рубаха с оторванной пуговицей. Коленка у него была содрана ещё с позавчерашней драки с городскими мальчишками, но Лёха считал эту ссадину боевой отметиной и никому не давал её жалеть.

Матвей действительно нашёлся у колодца. Он стоял рядом с полным ведром, худой, темноволосый, с мокрой от пота чёлкой на лбу, и уговаривал младшую сестрёнку не реветь.

— Я скоро, Нюрка, — говорил он мягко. — Только до речки и обратно.

— Мамка сказала — воду занеси!

— Занесу. Вот честное слово, занесу.

— Твоё честное слово дырявое, — заметил Лёха, подходя ближе.

Матвей обернулся, и лицо его сразу просветлело.

— Пять минут дайте.

— Две, — сказал Миша. — Иначе место у коряги займут.

Место у коряги было их собственное, никем официально не признанное, но оттого не менее важное. Там речка делала плавный изгиб, вода темнела под нависшими ивами, а с глинистого берега можно было прыгать вниз, зажимая нос и крича так, чтобы слышали на другом конце деревни. Рядом торчала старая коряга, похожая на костлявую руку. Лёха уверял, что ночью она шевелится и хватается за пятки тех, кто купается после заката. Матвей делал вид, что не верит, но после заката к воде всё равно не подходил.

Через несколько минут они уже бежали к реке втроём.

Дорога шла мимо огородов, потом через луг, где трава доходила почти до пояса. Кузнечики стрекотали так громко, будто спорили друг с другом на всю округу. Над лугом висели белые бабочки. Миша бежал впереди, чувствуя, как пот стекает по спине, как колет сухая трава по ногам, как хлеб за пазухой ломается на крошки. Он был счастлив той простой, бес-

словесной радостью, которая бывает только у детей летом: когда весь мир — это солнце, друзья и речка впереди.

— Последний — немец! — заорал Лёха.

— Сам немец! — крикнул Матвей и прибавил ходу.

Они часто так кричали в играх, ещё не понимая толком, что это слово уже перестаёт быть просто словом из взрослых разговоров и газет. В деревне последние дни говорили тревожно. Мужики собирались у сельсовета, слушали репродуктор, хмурились. Почтальонша тётя Груша ходила быстро, не задерживалась у калиток. Матери чаще обычного ругали детей за пустяки и дольше смотрели им вслед.

Но для Миши, Лёхи и Матвея война всё ещё была где-то далеко. За лесами, за городами, за непонятными взрослыми словами. Она не могла быть здесь, у их речки, где вода пахла илом, а на песчаной отмели валялась их прошлогодняя плотина из палок и глины.

У берега они скинули одежду в одну кучу.

Лёха, конечно, прыгнул первым. Разбежался, взмахнул руками, на миг повис над водой тощей загорелой птицей и с грохотом ушёл под поверхность. Брызги долетели до Миши.

— Давай! — вынырнув, заорал Лёха. — Вода — парное молоко!

— Врёшь, — сказал Миша, но тоже прыгнул.

Вода обняла его сразу, тёплая сверху и холодная в глубине. Он вынырнул, фыркнул, провёл ладонью по глазам. Мир стал ярче: синее небо, зелёные ивы, красное Лёхино лицо, Матвей на берегу, который всё никак не решался прыгнуть.

— Матвей, ты что, с корягой советуешься? — крикнул Лёха.

Матвей показал ему язык, перекрестился по-детски неловко — не от большой веры, а скорее на удачу — и прыгнул следом.

Они плескались, ныряли, спорили, кто дольше продержится под водой. Лёха пытался поймать рыбу руками и каждый раз объявлял, что «почти схватил». Матвей нашёл на дне гладкий камень с белой прожилкой и сказал, что это, наверное, кусок луны, упавший ночью. Лёха обозвал его поэтом, но камень всё равно попросил посмотреть.

Миша лежал на спине, раскинув руки, и смотрел в небо.

Небо было чистым-чистым. Ни облачка. Только высоко, почти на самом краю зрения, двигалась маленькая тёмная точка. Миша сперва решил, что это коршун. Потом точек стало две. Потом три.

Гул пришёл не сразу.

Сначала он показался далёким жужжанием, будто над лугом поднялся огромный рой пчёл. Миша перевернулся в воде и прислушался. Лёха тоже замер, держа в руке водоросль, которую собирался бросить Матвею на голову.

— Слышите? — спросил Матвей.

Гул рос. Он становился тяжёлым, металлическим, чужим. От него вода под подбородком будто мелко задрожала.

Со стороны деревни вдруг раздался крик. Один, потом второй. Потом где-то забила собака, захлебнулась лаем.

— Самолёты, — сказал Лёха.

Он сказал это почти с восторгом, как сказал бы о чуде. Но лицо у него тут же изменилось. Над лесом показались самолёты.

Они шли низко. Чёрные кресты на крыльях Миша увидел слишком ясно — так ясно, что потом, много лет спустя, будет помнить не лица некоторых людей, а эти кресты, будто выжженные на летнем небе. Самолёты не были похожи на тех, что рисовали мальчишки на школьных тетрадах. Они были живые, хищные, с тупым блеском стекла, с брюхом, полным смерти.

Первый взрыв ударил где-то у станции.

Земля дёрнулась. Над дальними крышами поднялся столб чёрного дыма. Через мгновение до речки докатился звук — такой огромный, что Миша не сразу понял, слышит ли он его ушами или всем телом.

— К берегу! — закричал он.

Но Лёха уже плыл. Матвей был дальше всех, почти у середины речки. Он испуганно оглядывался, сбиваясь с дыхания.

Второй взрыв оказался ближе.

Вода вздыбилась мелкой рябью. С берега посыпалась сухая глина. Где-то в камышах с криком поднялись утки. Миша поплыл изо всех сил, чувствуя, как тяжелеют руки. Он слышал Лёху впереди — тот матерился, захлёбывался, но грёб к берегу.

— Матвей! — крикнул Миша. — Давай сюда!

Матвей плыл странно: резко, неровно, будто кто-то тянул его назад. Его лицо то появлялось, то исчезало за всплесками. Он был хорошим пловцом, не хуже Миши. Ещё минуту назад смеялся и нырял до самого дна. Но теперь страх будто спутал ему руки и ноги.

Самолёты прошли над деревней.

От их рева заложило уши. Миша успел увидеть, как один накренился, и из-под него отделились маленькие тёмные капли. На секунду они показались безобидными, почти игрушечными. Потом земля за дорогой раскрылась огнём.

Ударная волна пришла следом. Вода хлопнула Мишу по лицу. Он ушёл под поверхность, хлебнул речной мути, забился, вынырнул и закашлялся.

— Сюда! — орал Лёха с берега. — Мишка, сюда!

Миша уже доставал ногами дно. Глина скользила под пятками. Он рванул к берегу, упал на четвереньки, снова поднялся.

— Матвей где? — спросил Лёха.

Они оба обернулись.

Середина речки была пустой.

Только круги расходились по воде. Широкие, медленные, равнодушные.

— Матвей! — закричал Миша.

Он бросился обратно, но Лёха схватил его за плечо.

— Стой! Сам утонешь!

— Пусти!

Миша ударил его локтем, вырвался, снова вошёл в воду по пояс. В этот момент где-то совсем рядом застучал пулемёт — коротко, зло, как будто небо треснуло по швам. По воде побежали острые белые всплески.

Лёха с силой дёрнул Мишу назад.

— В лес! — заорал он. — В лес, дурак!

Миша не помнил, как они бежали.

Они были голые, мокрые, босые. Одежда осталась на берегу, смешная кучка мирной жизни, к которой уже нельзя было вернуться. Камыш хлестал по ногам, ветки били по лицу. За спиной ревели самолёты, грохотали взрывы, кричали люди. Впереди темнел лес — спасительный, густой, страшный.

Они рухнули под старой осиной в овраге.

Лёха прижал Мишину голову к земле.

— Лежи.

Миша лежал, вжимаясь щекой в влажную листву. От него пахло речкой, страхом и тиной. Где-то рядом тяжело дышал Лёха. Над ними дрожали листья. Между ветками всё ещё виднелись куски июньского неба — того самого неба, которое утром было чистым и добрым.

Миша зажмурился.

Перед глазами стояла вода.

Круги на середине речки.
И Матвея не было.
Ни на берегу, ни в воде, ни рядом с ними в овраге.
Только что их было трое.
А теперь лето кончилось.

Глава 2. Чёрное небо

Лес не спасал.

Он только прятал их на время — мокрых, голых, дрожащих, с глиной на коленях и речной водой в ушах. Миша лежал лицом в прошлогодней листве и не мог понять, почему земля под ним ходит ходуном. Она вздрагивала не как живая, а как избитая. Каждый взрыв где-то за деревьями будто ударял по её рёбрам, и от этого дрожь проходила через грудь, живот, зубы.

Лёха прижимал его к земле одной рукой, другой держался за корень осины. Пальцы у него были белые, в грязи, с содранной кожей на костяшках.

— Не вставай, — прохрипел он.

Миша не сразу понял, что Лёха говорит с ним. В голове стояла вода. Не просто шумела — стояла тяжёлой мутной стеной, за которой всё ещё расходились круги на середине речки.

Матвей.

Имя не произносилось. Оно застряло где-то в горле и там же начало душить.

Над лесом снова прошли самолёты.

Теперь они летели ниже. Рёв моторов провалился между стволами, прокатился по оврагу, сорвал с веток сухие листья. Миша вжал голову в землю. Ему показалось, что если он поднимет глаза, то увидит брюхо самолёта прямо над собой — железное, холодное, с чёрным крестом, как метка на крышке гроба.

Потом ударило.

Сначала вспышка — белая, злая, даже сквозь закрытые веки. Потом звук. Не гром, не треск, не обвал. Это было что-то большее, будто сам воздух разорвали пополам и бросили в овраг горящими кусками. Мишу подкинуло. В рот набилась земля. Лёха вскрикнул, но тут же зажал себе рот ладонью.

Где-то совсем рядом зашипело.

Миша повернул голову. За кустами поднимался дым. Тонкий сначала, серый, а потом густой, чёрный. Он лез между стволами, цеплялся за ветки, расплзался, как грязная шерсть. Пахло не костром. Костёр пахнет домом, картошкой, вечером. Здесь пахло железом, горелой краской, сырой землёй, которую вывернули наружу.

И ещё чем-то сладковатым, страшным.

Миша не хотел понимать, чем.

— Деревня, — сказал Лёха.

Голос у него был чужой. Не тот Лёха, который ещё недавно орал «последний — немец» и смеялся с берега. Этот Лёха говорил глухо, как взрослый мужик после тяжёлой работы или после похорон.

— Надо туда, — Миша поднялся на локтях.

— Куда?

— Домой.

Лёха посмотрел на него так, будто Миша предложил выйти на дорогу и махать самолётам рукой.

— Ты сдурел?

— Там мать.

Это слово всё решило.

Они поползли вверх по склону оврага. Не пошли — именно поползли, цепляясь за корни, сдирая кожу на животе и локтях. Каждая ветка казалась рукой, которая пытается удержать. Каждая секунда была липкой, длинной. Самолёты уходили, возвращались, снова уходили, и всё время над деревней что-то рушилось, взрывалось, ревело.

Когда они добрались до края леса, Миша сперва не узнал свою деревню.

Она ещё стояла — но уже не была прежней.

Над крышами висел дым. Улица, по которой утром они бежали к речке, была перерезана воронкой. Там, где раньше дорога была ровная, лежала чёрная яма с рваными краями, и из неё торчали доски, комья глины, обрывки чего-то белого. У крайней избы не было стены. Печь стояла открытая, нелепая, как выставленное напоказ сердце дома. На печи всё ещё висел чугунок.

Крыша сельсовета горела.

Не ярко, как на празднике, а зло и жадно. Пламя глотало сухие доски, вырывалось из окон, бросало в небо красные языки. Рядом кто-то кричал. Не словами — одним длинным, протяжным звуком, в котором не было ничего человеческого, кроме боли.

Миша сделал шаг и наступил на осколки стекла. Только тогда понял, что босой.

Лёха тоже был босой. Оба были в одной коже, в грязи и царапинах. Одежда осталась у речки. Детство осталось там же.

По улице бежала тётка Дуня. Волосы у неё выбились из платка, лицо было серым. В руках она несла курицу — мёртвую или живую, непонятно, — а за ней, спотыкаясь, тащился маленький Ванька без штанов, в одной рубашке.

— В лес! — кричала она. — В лес бегите!

Но сама почему-то бежала к центру деревни.

У колодца лежала перевёрнутая телега. Лошадь билась в оглоблях. Не ржала — хрипела, выбрасывая голову, и от этого хрипа Мише стало хуже, чем от взрывов. У животного была перебита задняя нога. Копыто стучало по земле, раз, раз, раз, будто кто-то пытался выбить дверь изнутри.

— Не смотри, — сказал Лёха.

Но Миша уже посмотрел.

Он увидел ещё больше.

У забора сидел дед Пахомыч. Сидел спокойно, прямо, как всегда сидел вечером у ворот. Только ворот больше не было, а у деда на лице застыло удивление. На груди его расплывалось тёмное пятно. Рядом валялась кепка.

Миша захотел закричать, но крик не вышел.

С неба снова донёсся гул.

Сначала все замерли. Даже лошадь будто на мгновение перестала биться.

Потом деревня взорвалась движением.

Люди бросились кто куда. Женщины хватали детей, старики падали, поднимались, снова падали. Кто-то тащил узел с вещами, кто-то икону, кто-то пустое ведро, будто в этом ведре могла поместиться вся прежняя жизнь.

— Ложись! — заорал кто-то.

Миша не успел.

Самолёт вышел из-за дыма так низко, что были видны тёмные пятна на крыльях. Он нырнул к деревне, и из его носа брызнула огненная строчка.

Пули прошили улицу.

Земля перед Мишей вскипела. Пыль, щепки, камни, стекло — всё прыгнуло вверх. Забор рядом с ним разлетелся, как сухарь. Что-то горячее полоснуло по плечу. Лёха налетел сбоку, сбил Мишу с ног, и они вместе рухнули в канаву.

Над головой секло и свистело.

Не как в кино, не красиво. Грязно. Быстро. Сухо. Смерть не шла торжественно — она работала, как молотилка.

Миша лежал в канаве, уткнувшись лицом в мокрую землю. Вода на дне была тёплая от солнца и мутная от пыли. Он слышал, как Лёха рядом тяжело дышит, как где-то над ними ломается дерево, как кричит ребёнок, как кто-то зовёт:

— Марья! Марья!

Потом голос оборвался.

Самолёт ушёл на разворот.

На несколько секунд стало почти тихо. Только горело. Трещали балки. Плакали люди. Лошадь больше не хрипела.

Миша поднял голову.

На другой стороне улицы стояла его мать.

Он узнал её не сразу — так нелепо она выглядела среди дыма: в домашнем переднике, с мукой на рукаве, с выбившейся прядью волос. Она смотрела прямо на него. Сначала не понимала, что это её сын: голый, чёрный от грязи, с кровью на плече. Потом поняла.

— Миша!

Она бросилась к нему.

— Назад! — крикнул он, сам не зная почему.

И в этот момент ударило по их улице.

Бомба упала не в дом. Чуть дальше, за амбаром. Но взрыв всё равно раскрыл мир белым огнём. Мишу снова швырнуло вниз. Воздух исчез. Вместо воздуха в грудь вошла пыль. Он не слышал ничего. Только видел, как над канавой медленно, слишком медленно летят щепки, солома, кусок красной занавески, обломок доски с гвоздём.

Когда звук вернулся, он вернулся сразу всем.

Рёв. Плач. Треск. Женский вой.

Миша вскочил, но Лёха удержал его за пояс.

— Пусти! Там мать!

— Подожди!

— Пусти, я сказал!

Он вырвался.

На улице ничего нельзя было разобрать. Всё стало одного цвета: дымно-серого, пыльного, горелого. Миша бежал туда, где только что стояла мать, и не чувствовал ног. В голове была одна мысль: успеть. Не спасти даже — просто успеть добежать, пока мир снова не передумал и не отнял у него ещё кого-нибудь.

Мать лежала у забора.

Живая.

Она пыталась подняться, но не могла. Лицо у неё было в саже, губы разбиты. Увидев Мишу, она схватила его за руку так крепко, что он вскрикнул.

— Живой, — сказала она.

Не спросила. Сказала. Как приказала.

— Живой, мам.

Она вдруг ударила его ладонью по щеке. Слабо, почти без силы.

— Где одежда? Где ты был? Господи, где ты был?

И тут Миша понял, что сейчас она спросит про Матвея.

Потому что все знали: если Миша и Лёха вместе, значит, где-то рядом должен быть Матвей. Так было всегда. У колодца, на речке, у школы, на покосе, за чужими яблоками. Трое. Не двое.

Мать посмотрела за его спину.

Там стоял Лёха. Один.

— А Матвей? — спросила она.

Слова были тихие, но Миша услышал их сквозь пожар, самолёты и плач всей деревни.

Лёха опустил глаза.

Миша открыл рот.

И ничего не сказал.

В небе снова загудело.

Мать сама всё поняла не потому, что ей ответили, а потому что ответа не было. Она перекрестилась, медленно, дрожащей рукой, и подтянула Мишу к себе.

— В погреб, — сказала она. — Быстро.

Они бежали к дому втроём: мать, Миша и Лёха.

Дом стоял. Окна выбило, дверь перекосило, но дом стоял. Во дворе валялась разбитая кадка. По земле текло молоко — белое, густое, смешиваясь с пылью. Эта белая лужа почему-то показалась Мише страшнее крови. Будто сама мирная жизнь вытекла на землю и уже не могла быть собрана обратно.

Мать открыла крышку погреба.

— Лезьте!

Лёха спустился первым, потом Миша. Внизу пахло картошкой, сыростью и мышами. Мать хотела спуститься следом, но сверху кто-то закричал её имя.

— Анна! Помоги! У Федотовых завалило!

Она застыла.

Миша схватил её за подол.

— Мам, не ходи.

Она посмотрела вниз. На секунду стала просто матерью, не женщиной, не соседкой, не взрослой — матерью, которая хочет закрыть собой сына и больше никуда его не отпускать.

Потом наверху снова закричали.

— Я сейчас, — сказала она.

— Мам!

— Сиди здесь. Не вылезай. Слышишь? Что бы ни было — не вылезай.

Крышка закрылась.

Темнота упала сразу.

Миша остался в погребе с Лёхой. Они сидели между мешками картошки, голые, грязные, чужие самим себе. Сверху грохотало. Иногда в щели между досками просыпалась земля. Один раз что-то тяжёлое ударило по крышке, и оба мальчика пригнулись, хотя пригнуться было некуда.

Лёха молчал долго.

Потом сказал:

— Я его держал.

Миша повернул к нему голову, но в темноте видел только смутный силуэт.

— Кого?

— Тебя. Я тебя держал. А его — нет.

Миша хотел сказать: «Ты не виноват». Хотел. Но слова не пошли. Потому что где-то внутри, в самом тёмном месте, уже сидела другая мысль.

Если бы Лёха не держал его, может, он успел бы к Матвею.

А если бы Миша поплыл раньше?

А если бы они не побежали купаться?

А если бы не кричали «последний — немец»?

Сверху снова взорвалось.

Погреб трянуло. С потолка сыпалась земля. Лёха зажал уши. Миша прижал колени к груди и вдруг понял, что плачет. Без звука. Просто вода текла по лицу — уже не речная, не дождевая, а своя, горячая.

Он плакал не только от страха.

Он плакал потому, что там, за домом, за дымом, за горящей деревней, была речка.

А в речке остался Матвей.

И никто сейчас не мог пойти за ним.

Никто.

К вечеру самолёты ушли.

Но тишина после них оказалась хуже. В ней слышно было всё: как где-то стонет раненый, как трещит недогоревшая балка, как плачет женщина у развалин, как сыплется уголь из печной трубы. Деревня не умерла — она лежала, изуродованная, и дышала через боль.

Когда мать открыла погреб, лицо её было старым.

Не уставшим — именно старым. За несколько часов она прожила столько, сколько не должна была прожить ни одна женщина.

— Вылезайте, — сказала она. — Только не смотрите по сторонам.

Конечно, они посмотрели.

На улице собирали тех, кого можно было собрать. Накрывали простынями, мешками, половиками. У кого что было. У Федотовых не осталось дома. У сельсовета торчали чёрные балки. Колодец завалило. Репродуктор на столбе висел перекошенный, и из него вместо голосов шёл один хрип.

Миша стоял посреди двора, завернувшись в старую отцовскую фуфайку, и смотрел в сторону речки.

Туда никто не шёл.

У всех были свои мёртвые, свои раненые, свои пожары.

Матвей был пока ничей.

Только их.

— Надо сказать его матери, — произнёс Лёха.

Миша посмотрел на него.

Лёха дрожал. Не от холода. От того, что впервые в жизни понимал: есть слова, после которых ты уже никогда не будешь прежним.

Они пошли к дому Матвея на закате.

Небо было красное, будто весь день горело и теперь не могло остыть. По дороге им попадались люди, но никто не спрашивал, куда они идут. Все и так знали, куда идут двое мальчишек, если третьего рядом нет.

У калитки Матвеевой избы сидела Нюрка.

Та самая младшая сестрёнка, которой утром он обещал занести воду.

Ведро стояло рядом с ней. Полное. Матвей всё-таки успел.

— А Матвей где? — спросила Нюрка.

Миша остановился.

Лёха отвернулся.

Из избы вышла Матвеева мать.

Она посмотрела на них — на Мишу, на Лёху, на пустое место между ними.

И сразу всё поняла.

Но всё равно спросила:

— Где мой сын?

Миша хотел ответить.

Хотел сказать: «В речке». Хотел сказать: «Мы не успели». Хотел сказать: «Простите».

Но перед глазами снова пошли круги по воде.

Широкие.

Медленные.

Равнодушные.

И где-то очень глубоко, под этой памятью, под страхом и дымом, ему вдруг показалось, что из-под воды кто-то смотрит.

Не просит о помощи.

Запоминает.

Миша впервые почувствовал это — не мысль даже, а холодную занозу под сердцем.

Матвей не простит.
Даже если мёртвые ничего не помнят.
Даже если мёртвые не возвращаются.
Он не простит.
И Миша молча заплакал.

Глава 3. Двое

Война не прошла для них годами.

Она прошла сезонами.

Сначала было лето сорок первого — чёрное, горелое, с речкой, к которой долго никто не ходил. Потом осень, когда деревня собирала урожай так, будто собирала последние силы из самой земли. Мужики ушли почти все. Остались женщины, старики, дети и мальчишки, которые за одно лето перестали быть мальчишками.

Миша и Лёха работали наравне со взрослыми.

Таскали воду. Носили мешки. Чинили крыши после налётов. Помогали в поле. Ходили в лес за хворостом, за грибами, за всем, что можно было съесть или обменять. Зимой рубили лёд на реке и старались не смотреть на тёмную воду в проруби слишком долго.

Матвея так и не нашли.

В первые дни после бомбёжки его искали у берега, ниже по течению, в камышах, у старой мельничной запруды. Мужики из тех, кто ещё не ушёл на фронт, ходили с баграми. Женщины стояли на берегу, молчали и крестились. Матвеева мать не плакала. Она только смотрела на воду так, словно могла взглядом приказать ей вернуть сына.

Вода не вернула.

Потом началась другая беда, большая, общая, тяжёлая, и деревня стала забывать даже то, что забывать было нельзя. Не потому что сердца огрубели. Просто у живых каждый день просил хлеба, дров, сил, рук. Мёртвые оставались в памяти, но память тоже приходилось кормить остатками.

Миша хранил Матвея молча.

Иногда ночью ему снилось, что они снова бегут к речке. Лёха кричит что-то весёлое, Матвей смеётся, а потом сон обрывается на одном и том же месте: Миша стоит на берегу, вода ровная, чёрная, и из глубины медленно поднимается рука. Не зовёт. Не машет. Просто лежит на поверхности ладонью вверх, будто ждёт, что в неё наконец вложат ответ.

Лёха о Матвее не говорил совсем.

Если кто-то случайно произносил это имя, он уходил. Мог уйти посреди разговора, посреди ужина, посреди работы. Злился, ругался, бил кулаком по стене сарая, однажды до крови разбил костяшки о старую телегу. Люди решили: тяжело мальчишке, друга потерял. И больше не трогали.

К сорок третьему году они оба вытянулись.

Миша стал худым, высоким, с серьёзным лицом, которое не очень подходило его возрасту. Он мало смеялся и много слушал. Учительница говорила, что у него «голова к науке», но школу часто приходилось менять на работу: то в колхозе не хватало рук, то мать заболела, то нужно было ехать в район за мукой.

Лёха вырос крепче. Плечи раздались, взгляд стал прямым, почти вызывающим. Он мог починить телегу, управиться с лошастью, залезть на крышу, вытащить застрявшую в грязи подводу. Его любили за силу и боялись за вспыльчивость.

В сорок четвёртом в деревню начали возвращаться первые калеки.

Не все узнаваемые. Не все живые внутри.

Один вернулся без ноги. Другой — с пустым рукавом, заправленным за пояс. Третий сидел у ворот и целыми днями смотрел на дорогу, хотя дома у него уже никого не осталось. Миша тогда впервые понял, что выжить — не значит вернуться.

Это слово, «выжить», прилипло к ним с Лёхой крепче фамилий.

Двое выживших.

Так иногда говорили за спиной. Не зло. С сочувствием. Но Миша каждый раз вздрагивал. В этих словах всегда не хватало третьего.

Победу деревня встретила в мае сорок пятого.

Рано утром у сельсовета, где после бомбёжки давно уже поставили новый столб с репродуктором, собрался народ. Сначала никто не верил. Потом кто-то закричал. Потом заплакали все — и те, у кого вернулись, и те, у кого не вернулись, и те, кто уже разучился ждать.

Колокола в соседнем селе били так, что звук катился через поля.

Женщины обнимались, падали на колени, целовали друг другу руки, лица, платки. Старики крестились. Дети бегали между взрослыми, не понимая, почему радость такая мокрая и такая страшная.

Лёха первым схватил Мишу за плечи.

— Победа, Мишка! Слышишь? Победа!

Он смеялся. По-настоящему, громко, почти как раньше. Но глаза у него были красные.

Миша тоже улыбнулся. Он хотел почувствовать только радость — чистую, большую, светлую. Хотел, как все, кричать, обнимать, забыть хотя бы на один день всё: дым, голод, похоронки, речку.

Но когда над деревней взвилась первая самодельная ракета — кто-то из ребят запустил её из жестяной трубы, — Миша невольно пригнулся.

Лёха заметил.

— Всё, — сказал он тихо. — Кончилось.

Миша кивнул.

Но оба знали: не всё.

Вечером они пошли к речке.

Не сговариваясь. Просто ушли от шума, от гармошки, от пьяных слёз, от радостного людского гула. Шли молча по той самой тропе, которая когда-то казалась им дорогой в лето, а теперь стала чем-то вроде дороги на кладбище.

Речка была спокойная.

Весенняя вода стояла высоко, подступала к самым ивам. У коряги, почерневшей и наполовину ушедшей в ил, кружилась пена. На другом берегу кричала птица.

— Ему было бы восемнадцать, — сказал Миша.

Лёха долго молчал.

Потом нагнулся, поднял с берега камень и швырнул в воду.

— Хватит, — сказал он. — Не надо.

— Что не надо?

— Всё это. Считать, сколько ему было бы. Думать, что он сказал бы. Как жил бы. Не надо.

Миша посмотрел на круги, расходившиеся по воде.

— А если не получается?

Лёха сжал челюсти.

— Значит, учись.

После Победы жизнь не стала лёгкой.

Она просто перестала ждать смерти с неба каждый день.

Деревня чинилась медленно. Дома латали, крыши перекрывали, печи перекладывали. На месте сгоревшего сельсовета поставили новый, ещё пахнувший свежей доской. Школа открылась снова — сначала в чужой избе, потом в отремонтированном здании с выбитыми когда-то, а теперь заново вставленными окнами.

Миша вернулся за парту почти взрослым.

Ему было стыдно сидеть рядом с младшими, выводить буквы, отвечать у доски, когда руки уже знали тяжесть топора, ведра и мешка. Но учительница Анна Сергеевна сказала ему:

— Страна после войны не только руками поднимается. Головой тоже.

И Миша поверил.

Он учился жадно. Читал всё, что попадалось: учебники, старые журналы, газеты, потрёпанные книги без обложек. Особенно любил математику — за то, что в ней всё сходилось, если думать честно. В жизни так не получалось. В жизни можно было сделать всё правильно и всё равно потерять друга.

Лёха школу терпел.

Не любил сидеть на месте, спорил с учителями, иногда уходил с уроков, если дома или в колхозе нужна была помощь. Но соображал быстро. Особенно в технике. Разобрать, собрать, подогнать, починить — это у него выходило лучше всяких сочинений.

— Из тебя механик будет, — говорили ему.

— Из меня человек будет, — отвечал Лёха.

Говорил грубо, но не со злом.

К концу сороковых они разъехались.

Миша поступил в техникум в областном городе. Мать провожала его на станцию с узлом еды и долго поправляла воротник, будто он всё ещё был тем мальчишкой, который убежал купаться без спроса. Перед отправлением она вдруг перекрестила его и сказала:

— Живи, сынок. За себя живи. И за тех, кто не смог.

Миша понял, о ком она, но не спросил.

Город встретил его шумом, трамваями, общежитием, чужими голосами за стеной и вечным запахом угля. Первые месяцы он тосковал так, что по вечерам выходил к набережной и смотрел на воду. Потом перестал. Вода в городе была другая — широкая, деловая, равнодушная к его памяти.

Он учился на строителя.

Ему нравилось думать, что можно не только чинить разрушенное, но и возводить новое. Дом, мост, школу, больницу — что-то прочное, полезное, мирное. То, что не кричит, не горит, не тонет.

Лёха уехал позже, в ремесленное училище.

Писал редко. Коротко. «Жив. Учусь. Руки целы. Привет тёте Анне». Потом устроился на завод, стал слесарем, потом мастером. Говорили, что на работе его уважали: мог накричать, но сам никогда не прятался за чужие спины. Если авария, он шёл первым. Если тяжело, брал на себя.

С годами они виделись всё реже.

Не потому что поссорились. Просто жизнь, которая после войны казалась подаренной заново, оказалась требовательной и плотной. Учёба. Работа. Очереди. Комнаты в общежитиях. Первые костюмы, купленные с зарплаты. Женщины, рядом с которыми хотелось говорить тише. Дети, появлявшиеся на свет уже в мирное время, с круглыми щеками и полным правом не знать, как звучит бомбёжка.

Миша женился на Вере.

Она работала библиотекарем, носила волосы в аккуратном пучке и умела слушать так, что человек сам себе становился понятнее. О Матвее Миша рассказал ей не сразу. Через несколько лет после свадьбы, ночью, когда их маленькая дочь спала за занавеской, а за окном шёл дождь.

Вера не перебивала.

Когда он закончил, она взяла его руку и долго держала в своих ладонях.

— Ты был ребёнком, — сказала она.

— Мы все были детьми.

— Именно.

Он хотел поверить. Иногда почти верил.

Лёха женился на Зинаиде — бойкой, черноглазой, с голосом таким звонким, что на рынке её было слышно через три ряда. Она не боялась его резкости и умела одним взглядом остановить любую ссору.

— С тобой, Алексей, как с трактором, — говорила она. — Сила есть, а руль иногда забываешь.

Лёха при ней смягчался. Не сразу, не на людях, но смягчался. У них родились двое сыновей. Потом дочь. Лёха строил полки, чинил велосипеды, носил детей на плечах и запрещал им ходить к речке без взрослых.

— Почему? — спрашивал старший.

— Потому, — отвечал Лёха.

И этого «потому» хватало.

Снаружи их жизнь стала самой обычной.

Миша проектировал здания, ездил в командировки, получал грамоты, стоял в очереди за мебелью, ругался с ЖЭКом, по воскресеньям читал газету и учил дочь решать задачи.

Лёха работал на заводе, потом поднялся до начальника участка, копил на машину, ругался с соседями из-за забора, сажал картошку, любил баню и крепкий чай из гранёного стакана.

Они оба жили так, как миллионы людей после войны: цепко, упрямо, без лишних разговоров о прошлом.

Но прошлое иногда само открывало дверь.

У Миши это случалось во сне. Он просыпался от того, что слышал плеск воды. Вставал, шёл на кухню, пил из-под крана и долго стоял босиком на холодном полу. Вера однажды спросила:

— Тебе опять речка снилась?

Он кивнул.

Она больше не спрашивала.

У Лёхи всё было иначе.

Он не говорил о снах, но иногда среди дня внезапно замирал, будто слышал что-то за спиной. Один раз на заводе у него из рук выпал гаечный ключ. Рабочие смеялись: мол, мастер стареет. Лёха поднял ключ и так посмотрел на них, что смех сразу оборвался.

В тот день он пришёл домой раньше обычного.

Зинаида потом рассказывала Мише, что муж сидел на кухне до ночи и смотрел на мокрые следы у порога. Следы оставил младший сын — набегался под дождём. Но Лёха всё равно велел перемыть пол три раза.

— Не люблю грязь, — сказал он.

Зинаида тогда решила, что дело в усталости.

Годы шли.

Страна менялась, строилась, шумела. Уходили старики, выросли дети, на месте старых бараков поднимались новые дома. В деревне тоже многое переменилось. Где-то провели электричество, где-то поставили клуб, дорогу подсыпали щебнем. Речка осталась.

Та же.

Медленная, тёмная у коряги, с ивами над водой.

Когда Лёхе было уже за сорок, он вдруг купил дом в той самой деревне.

Не родительский — тот давно разобрали после смерти матери. Другой, ближе к окраине, с покосившимся забором, яблоней у окна и видом на луг. От дома до речки было минут десять пешком.

Миша, узнав об этом, долго молчал в телефонную трубку.

— Ты зачем? — спросил он наконец.

— Дом хороший.

— Лёха.

— Что Лёха?

— Там же

— Что — там?

Голос у Лёхи стал жёстким.

Миша пожалел, что начал.

— Ничего.

— Вот именно, — сказал Лёха. — Ничего там нет. Деревня как деревня. Речка как речка. Но летом, когда Миша приехал к нему в гости, он понял: Лёха врёт.

Дом был крепкий, хотя старый. Лёха уже успел перекрыть крышу, поправить крыльцо, вычистить сарай. Зинаида возилась в огороде, дети бегали по двору, из кухни пахло жареной картошкой и луком. Всё выглядело мирно, надёжно, почти счастливо.

Только сам Лёха каждый вечер выходил за калитку и долго стоял, глядя в сторону речки.

— Ходишь туда? — спросил однажды Миша.

Они сидели на лавке у дома. Солнце садилось. Комары звенели в траве. Из открытого окна доносился голос Зинаиды: она ругала детей за разбросанные сапоги.

Лёха не сразу ответил.

— Иногда.

— Зачем?

— А ты зачем спрашиваешь?

Миша пожал плечами.

— Не знаю.

Лёха усмехнулся, но без веселья.

— Вот и я не знаю.

Ночью Миша проснулся от стука.

Сначала подумал, что это ветка бьёт в окно. Потом понял: стучат не снаружи, а где-то внизу, в доме. Глухо. Медленно. Будто мокрым кулаком по доске.

Раз.

Пауза.

Раз.

Он сел на кровати. В комнате было темно, только лунный свет лежал на полу бледным прямоугольником. Рядом спала Вера — они приехали вместе на несколько дней. За стеной слышалось детское сопение.

Стук повторился.

Миша накинул рубашку и вышел в сени.

Там уже стоял Лёха.

Босой. В нижней рубаше. С топором в руке.

— Ты тоже слышал? — прошептал Миша.

Лёха не посмотрел на него.

— Мыши.

— С топором на мышей?

Лёха медленно повернул голову.

В темноте лицо его казалось чужим.

— Иди спать.

Стук больше не повторился.

Утром Зинаида нашла у порога мокрое пятно.

— Опять дети набегали, — сказала она и велела младшим вытереть ноги в следующий раз.

Но дети клялись, что ночью не выходили.

Лёха молча вымыл доски сам.

Миша стоял рядом и смотрел, как тёмная вода уходит в тряпку. От неё пахло не дождём. Речкой.

Тиной.

И чем-то давним, что не сгнило за годы, не растворилось, не ушло по течению.

— Лёха, — тихо сказал он.

— Молчи.

— Но

— Молчи, я сказал.

Он выжал тряпку в ведро. Вода была мутная, с мелким речным песком на дне.

Лёха поднял глаза.

И Миша впервые за много лет увидел в них не злость.

Страх.

Тот самый, мальчишеский, из сорок первого.

Будто где-то совсем рядом, за стенами дома, за яблоней, за лугом, за тихим утренним светом, снова расходились круги по воде.

И кто-то терпеливо ждал, когда двое выживших наконец вернутся к берегу.

Глава 4. Когда их было трое

До войны деревня казалась им огромной.

Не такой, какой её видел взрослый человек: несколько улиц, пыльная дорога, покосившиеся заборы, огороды, колодец, старая кузница, амбар у сельсовета да речка за лугом. Нет. Для троих мальчишек деревня была целым миром, где у каждого забора была своя тайна, у каждой тропинки — назначение, а за каждым сараем могло прятаться приключение.

Миша потом много раз пытался вспомнить тот мир целиком. Не тот июньский день, когда всё оборвалось, а то, что было раньше. До самолётов. До чёрного дыма. До крика.

Он хотел вспомнить деревню живой.

И чаще всего ему вспоминалось небо.

Оно было высокое, синее, такое чистое, будто его только утром вымыли речной водой и повесили сушиться над крышами. По нему медленно плыли облака, ленивые, пухлые, похожие на овечьи спины. В траве стрекотали кузнечики. Из открытых окон пахло кислым молоком, хлебом, горячей печной золой и сушёными травами.

Лето стояло густое, настоящее.

Такое лето не проходило — оно длилось.

Мальчишки выбегали из домов с самого утра. Миша обычно первым. Он был аккуратный, тонкий, с внимательными глазами, будто всё время что-то запоминал. Его мать говорила, что он родился не ребёнком, а маленьким старичком: сначала посмотрел вокруг, подумал, а уж потом заплакал.

Лёха появлялся следом — босой, лохматый, вечно с разбитой коленкой и таким видом, будто уже успел с кем-то подраться или собирался это сделать. Он не ходил — он налетал. На крыльцо, на улицу, на чужой забор, на жизнь.

— Ну чего встал? — кричал он Мише. — Пошли!

— Куда?

— Туда!

У Лёхи всегда было туда. И это туда почти всегда оказывалось самым интересным местом на земле.

Матвей приходил последним.

Он никогда не торопился. Не потому что ленился — нет. Просто будто слышал что-то другое, не то, что слышали остальные. Пока Лёха орал через всю улицу, пока Миша стоял у калитки и шурился на солнце, Матвей мог остановиться у канавы, присесть на корточки и рассматривать мокрую землю, жука, камень, след птицы.

— Матвей! — злился Лёха. — Ты опять чего там нашёл?

Матвей поднимал глаза.

Серые, спокойные. Слишком спокойные для мальчишки.

— Вода ночью поднималась, — говорил он.

— Откуда знаешь?

— Слышно было.

Лёха фыркал.

— Всё тебе слышно.

Матвей не спорил.

Он вообще редко спорил. Если Лёха вспыхивал, как сухая солома, Матвей молчал так, что рядом с ним даже крик становился лишним. Миша любил это его молчание. В нём не было обиды. В нём было что-то речное: глубокое, прохладное, немного страшное.

Они были втроём так давно, что никто уже не помнил, как началась их дружба.

Просто однажды оказалось, что без одного из них день не складывается.

Если не было Лёхи — становилось скучно. Никто не предлагал украсть с чужой яблони зелёное яблоко, пробежать по крыше сарая, залезть на самый высокий вяз или проверить, правда ли у старого Прохора в амбаре живёт домовая.

Если не было Миши — всё быстро превращалось в беду. Лёха мог полезть туда, откуда потом сам не знал, как выбраться. Матвей мог уйти слишком далеко к речке и забыть, что его ждут дома. Миша всегда замечал, когда пора остановиться.

Если не было Матвея — мир будто терял глубину. Оставались крики, бег, пыль, смех, но исчезало что-то важное. То, ради чего хотелось задержаться у воды и смотреть, как по поверхности разбегаются круги.

В то лето они играли в прятки почти каждый день.

Лучшим местом была улица за кузницей, где стояли старые сараи, заросшие крапивой, лопухами и бузиной. Там пахло железом, дегтем и прошлогодним сеном. За сараями начинались огороды, а за огородами — тропа к лугу.

Лёха всегда водил громко.

Он закрывал глаза ладонями, прислонялся лбом к забору и считал так, будто объявлял приговор:

— Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Я иду искать!

— До десяти надо! — кричал Миша из-за поленницы.

— Я быстро считаю!

Матвей обычно прятался лучше всех.

Он умел исчезать.

Не просто залезть под телегу или спрятаться в кустах, а будто сделаться частью места. Один раз Миша с Лёхой искали его почти час. Обшарили двор тётки Аксины, заглянули в пустую бочку, под крыльцо, за улы, даже на чердак к деду Ермолаю, хотя туда им строго запрещали ходить.

Матвея не было.

— Ушёл он, — сказал Лёха, вытирая нос рукавом. — Обиделся и ушёл.

— Не ушёл, — ответил Миша.

— А где?

Миша не знал.

Они нашли его у колодца.

Матвей сидел внутри деревянного колодезного сруба, на узкой перекладине, подтянув колени к груди. Ниже темнела вода. Сверху падал тонкий круг света.

— Ты дурной? — заорал Лёха. — А если бы сорвался?

Матвей поднял голову.

— Там тихо.

— Где тихо?

— Внизу.

Миша тогда впервые почувствовал, как неприятный холодок прошёл у него между лопаток. День был жаркий, солнечный, а от Матвеевых слов будто повеяло погребом.

Лёха протянул ему руку.

— Вылезай. Нашёл место.

Матвей выбрался легко, будто и не сидел над чёрной глубиной. На ладони у него лежал маленький камень.

Серый, гладкий, с белой прожилкой посередине.

— Опять камень, — сказал Лёха. — На кой он тебе?

Матвей сжал его в кулаке.

— Этот хороший.

— Чем?

— Он воду помнит.

Лёха закатил глаза.

— Камень воду помнит! Миш, ты слышал? Скоро он скажет, что глина песни поёт.

Миша засмеялся, но не сразу.

Он смотрел на Матвеев кулак и почему-то думал, что камень правда что-то помнит. Может, не воду. Может, руки. Может, землю, из которой его вынули. Может, всё, что падало рядом с ним и оставалось лежать.

Позже Матвей часто носил этот камень с собой. Иногда доставал, тёр большим пальцем белую прожилку и прислушивался.

— Ну? — спрашивал Лёха. — Что говорит?

— Молчит.

— Вот и ты молчи.

Но Матвей не обижался.

После прятков они обычно бежали к речке.

Тропа шла через луг, где трава в июне стояла почти по пояс. От неё ноги становились зелёными, липкими, пахнувшими солнцем. Миша любил этот путь. Лёха терпеть не мог идти спокойно и всё время вырывался вперёд. Матвей часто отставал: то наклонится к цветку, то поднимет с земли перо, то остановится и смотрит в сторону воды.

Речку было слышно раньше, чем видно.

Сначала — слабый шорох. Потом плеск. Потом густое сонное бормотание, будто кто-то большой и невидимый говорил сам с собой за кустами.

— Она сегодня сердитая, — сказал однажды Матвей.

Лёха прыснул.

— Да ты с ней, что ли, знаком?

— Знаком.

— И как её зовут?

Матвей посмотрел на воду.

— Она сама знает.

Речка в том месте делала изгиб. Берег был глинистый, местами обвалившийся, с корнями, торчащими наружу, как старые палыцы. Чуть ниже по течению лежала коряга. Большая, чёрная, вывернутая из берега весенней водой. Один её сук поднимался вверх и в сторону, удивительно похожий на человеческую руку.

Мальчишки называли её лапой.

— Кто до лапы доплывёт — тот главный, — однажды объявил Лёха.

— Ты вчера уже был главный, — напомнил Миша.

— Значит, сегодня опять буду.

Матвей стоял у воды и смотрел на корягу.

— Она не лапа.

— А что?

— Рука.

Лёха нетерпеливо махнул.

— Лапа, рука — какая разница? Плывём!

Они раздевались быстро, бросали рубахи на кусты, штаны — на траву, и с криками неслись в воду. Лёха прыгал первым, обязательно с разбега, чтобы поднять больше брызг. Миша входил осторожнее: сначала по щиколотку, потом по колено, потом морщился от холода и наконец окунался. Матвей заходил медленно, почти торжественно.

Вода принимала его без всплеска.

Он плавал лучше всех.

Не быстрее — нет. Лёха был сильнее и азартнее, мог молотить руками так, что вода кипела. Но Матвей плавал иначе. Он не боролся с рекой. Он будто знал, где течение мягкое, где тянет вниз, где под ногами яма, где можно лечь на спину и просто плыть, глядя в небо.

— Матвей рыбой родился, — говорили в деревне.

Матвей только улыбался.

Однажды они строили у берега крепость.

Глина была тёплая сверху и прохладная внутри. Они выкапывали её руками, месили с водой, лепили стены, башни, ров. Лёха требовал сделать крепость неприступной, с бойницами и воротами. Миша аккуратно выкладывал мелкие камни по краям. Матвей молча укреплял стену мокрой глиной.

— Это будет наш город, — сказал Лёха. — Никого не пустим.

— А если враги? — спросил Миша.

— Всех побьём.

— А если сильнее?

Лёха нахмурился.

— Тогда спрячемся. А потом всё равно побьём.

Матвей воткнул в самую высокую башню тонкую веточку.

— Вода всё равно заберёт.

— Не заберёт, — возразил Лёха. — Я крепко сделал.

Матвей посмотрел на него спокойно.

— Всё, что у воды стоит, она когда-нибудь забирает.

— Опять ты.

Лёха бросил в него комок глины. Матвей увернулся. Комок попал Мише в плечо. Через минуту крепость была забыта, началась война. Они швырялись глиной, падали в мокрый песок, смеялись так громко, что с другого берега кто-то крикнул им ругательство.

К вечеру крепость подсохла.

Она стояла у воды маленькая, кривая, но гордая. С башнями, стенами и веточкой наверху.

На следующий день от неё осталась только половина.

Ещё через день — бугорок.

Потом вода слизала и его.

Лёха долго смотрел на пустое место.

— Жалко, — сказал он.

Матвей присел рядом и провёл пальцем по мокрой глине.

— Что упало — остаётся.

— Где остаётся? — спросил Миша.

Матвей показал на воду.

— Там.

Лёха хотел рассмеяться, но почему-то не стал.

Иногда после речки они прятались на сеновале.

Сеновал был у дяди Фёдора, на краю деревни. Туда нельзя было лазить: дядя Фёдор ругался страшно, грозил уши надрать и отцам вашим всё рассказать. Но именно поэтому сеновал был лучшим местом.

Внутри пахло сухим сеном, пылью, мышами и солнцем. Свет падал через щели в досках длинными золотыми полосами. Если лечь на спину и смотреть вверх, казалось, что находишься не в сарае, а внутри огромного тёплого зверя, который дышит медленно и спокойно.

Они лежали рядом.

Лёха — раскинув руки, будто хозяин мира.

Миша — подложив ладони под голову.

Матвей — чуть в стороне, у самой стены, где сквозь щель было видно далёкую полосу речки.

— Я вырасту и уеду, — сказал как-то Лёха.

— Куда? — спросил Миша.

— В город. Большой. Где дома каменные. И машины. И чтобы никто не говорил: Лёшка, принеси воды, Лёшка, не бегай, Лёшка, опять штаны порвал.

— Ты и в городе штаны порвёшь, — сказал Миша.

— Зато городские.

Матвей улыбнулся.

— А ты? — спросил Лёха Мишу.

Миша задумался.

Он не знал. Ему нравилась деревня. Нравился дом, мать, печка, огород, утренний туман над речкой. Но ему хотелось строить что-то большое и прочное. Такое, что вода не унесёт. Что не развалится после дождя.

— Я дома буду строить, — сказал он.

— В деревне?

— Может, в городе.

— А себе построишь?

— Построю.

— И нам? — оживился Лёха.

— Если заслужите.

Лёха толкнул его локтем.

— Слышал, Матвей? Он нам дома строить не хочет.

Матвей не ответил.

Он смотрел в щель между досками.

— А ты куда? — спросил Миша.

Матвей долго молчал.

Снаружи жужжала муха. Где-то во дворе мычала корова. Внизу скрипнула дверь, и мальчишки затаили дыхание, решив, что пришёл дядя Фёдор. Но шаги прошли мимо.

— Я к воде, — наконец сказал Матвей.

Лёха приподнялся на локте.

— Это как?

— Не знаю.

— Рыбаком, что ли?

— Может.

— Рыбаком скучно.

— Не скучно.

— А если мы все уедем? — спросил Миша.

Матвей повернул голову.

— Все?

— Ну да. Лёха в город. Я тоже, может. Ты к воде.

Лёха вдруг сел.

— Тогда договор.

— Какой ещё договор?

— Настоящий. Мальчишеский.

Он порылся в сене, нашёл сухую соломинку и торжественно положил её между ними.

— Вырастем. Уйдём куда захотим. Хоть в город, хоть к воде, хоть на край земли. Но потом вернёмся сюда. Втроём.

— Когда? — спросил Миша.

Лёха задумался.

Считать далёкие годы они не умели. Взрослая жизнь казалась им чем-то огромным, туманным и почти невозможным. Как другой берег в половодье.

— Когда будем совсем взрослыми, — решил он.

— Старыми? — уточнил Матвей.

— Не старыми. Взрослыми. С усами.

— У Миши, может, усов не будет, — сказал Матвей.

Лёха расхохотался.

Миша покраснел и толкнул его в плечо.

— Будут.

— Тогда договорились, — сказал Лёха. — Вернёмся втроём. На речку. К лапе.

— К руке, — тихо поправил Матвей.

— Да хоть к ноге. Вернёмся?

Миша положил ладонь на соломинку.

— Вернёмся.

Лёха накрыл его руку своей.

— Вернёмся.

Матвей смотрел на их руки чуть дольше, чем нужно. Потом достал из кармана тот самый камень с белой прожилкой и положил сверху.

— Чтобы помнила, — сказал он.

— Кто? — спросил Лёха.

Матвей кивнул в сторону щели, за которой блестела речка.

— Она.

Лёха поморщился, но руку не убрал.

Так они и сидели на сеновале: трое мальчишек, соломинка, три ладони и серый камень с белой тонкой жилкой, похожей на трещину в небе.

Тогда всё казалось простым.

Если сказал — значит, будет.

Если пообещал — значит, сдержишь.

Если вас трое — значит, никто не останется один.

Они не знали, что обещания, данные в детстве, живут дольше тех, кто их произносит.

Они не знали, что однажды один из них останется в воде, двое выбегут на берег, а потом всю жизнь будут возвращаться к этому мигу — каждый по-своему.

Они не знали, что речка умеет ждать.

В тот вечер они спустились с сеновала уже перед закатом. Деревня была залита мягким медным светом. Женщины звали детей по домам. Где-то стучало ведро о край колодца. Из труб поднимался дым. За огородами кричали перепела.

Лёха шёл впереди и размахивал палкой, сшибая головки репейника.

— Завтра опять на речку? — спросил он.

— Опять, — сказал Миша.

Матвей не ответил.

Он остановился посреди дороги и обернулся назад.

Солнце садилось за луг. Речка отсюда была не видна, но слышна. Едва-едва. Будто кто-то шептал в траве.

— Матвей! — крикнул Лёха. — Ты чего?

Матвей догнал их, но перед этим сунул руку в карман и сжал камень.

— Ничего, — сказал он.

Но Мише показалось, что он побледнел.

— Ты что-то слышал?

Матвей посмотрел на него.

Слишком внимательно.

— Вода сегодня не спит.

— А когда она спит? — буркнул Лёха.

— Никогда.

Они дошли до развилки, где расходились по домам. Обычно здесь ещё немного толкались, спорили, кто завтра кого первым найдёт, кто быстрее доплывёт до коряги, кто выше залезет на вяз. Но в тот вечер почему-то разошлись быстро.

Миша потом часто вспоминал именно этот вечер.

Не потому, что в нём случилось что-то важное. Ничего не случилось. Они просто шли по пыльной дороге, босые, загорелые, голодные, счастливые. Над ними летали ласточки. За спиной оставался луг. Впереди ждали дома, ужин, материнские голоса, сон.

Просто тогда они ещё были трое.

И, может быть, в этом и было самое важное.

А речка за лугом текла в сумерках тихо-тихо.

Текла мимо размытой глиняной крепости.

Мимо чёрной коряги, похожей на руку.

Мимо того места, где мальчишки смеялись, дрались, клялись вернуться и бросали в воду камни.

Она ничего не говорила.

Только запоминала.

Глава 5. Стук.

Дом Лёха купил не сразу.

Сначала просто приезжал в деревню по делам: то помочь кому-то с досками, то привезти с завода железки для ремонта, то провести стариков, которых помнил ещё мальчишкой. Потом стал задерживаться на день. Потом на два. Потом вдруг начал говорить, что в городе тесно, шумно, дышать нечем, а здесь хоть воздух настоящий.

Зинаида слушала его и качала головой.

— Воздух ему настоящий понадобился. Всю жизнь из деревни вырывался, а теперь обратно потянуло.

Лёха отмахивался.

— Человек, Зин, к старости умнеет.

— Ты-то?

— Я особенно.

Он смеялся, но смех выходил не совсем прежний. Не тот, каким он в молодости мог перекрыть целую улицу. Теперь в нём будто что-то поскрипывало, как старая дверь на ветру.

Дом стоял на краю деревни, почти у самого луга. Отсюда до речки было рукой подать: пройти мимо покосившегося забора, через заросшую тропу, потом вниз, к глиняному берегу. Дом давно пустовал. Хозяева умерли, дети разъехались, окна заколотили крест-накрест досками, двор зарос крапивой и полынью.

Лёха увидел его осенью.

Небо было низкое, серое. Ветер гнал по дороге жёлтые листья. Дом стоял тихо, будто ждал не покупателя, а того, кто должен был наконец вернуться.

— Беру, — сказал Лёха.

Мужик из сельсовета удивился.

— Ты хоть внутри посмотри.

— Посмотрю.

— Крыша течёт. Печь перекладывать надо. Полы гнилые.

— Ничего. Руки есть.

— Место, конечно, хорошее. Только сыровато. Весной вода близко подходит.

Лёха почему-то сразу посмотрел в сторону речки.

За лугом её не было видно, но он знал, где она. Знал, как изгибается берег, где начинается обрыв, где под водой тянет холодная яма, где раньше лежала старая коряга.

Коряги уже не было.

Или, может, была.

Он давно туда не ходил.

— Нормальное место, — сказал Лёха. — Живое.

Документы оформили быстро. Зинаида ворчала, дети смеялись, соседи говорили: Ну, Лёшка совсем чудной стал. А он ездил туда каждые выходные, чинил крышу, белил печь, менял доски в сенях, вырубал крапиву, таскал воду из колодца.

Дел у него было столько, что думать было некогда.

А он именно этого и хотел.

Когда руки заняты, голова молчит.

Сначала дом сопротивлялся. Сыпал трухой из потолка, скрипел половицами, дымил печью, не держал тепло. Ночами в углах шуршали мыши. Ветер пролезал через щели и ходил по комнатам, как чужой.

Лёха ругался, стучал молотком, плевал на ладони и работал дальше.

— Я тебя сделаю, — говорил он дому. — Не таких уламывали.

К весне дом стал похож на жилой. Появились занавески, новая лавка у печи, стол у окна, железная кровать в задней комнате. Зинаида привезла старое покрывало, кастрюли, керосиновую лампу, икону в красном углу.

— Вот теперь жить можно, — сказала она.

Лёха стоял посреди комнаты, оглядывался и чувствовал странную гордость.

Дом был его.

Деревня была та самая.

Речка была рядом.

И всё же внутри, где-то под рёбрами, шевелилось беспокойство. Тонкое, холодное, как рыба кость.

Первую ночь он остался один.

Зинаида не смогла: младшая внучка заболела, надо было ехать обратно в город. Лёха сказал, что ничего страшного. Он взрослый мужик, не мальчишка. Дом не волк, не съест.

— Только печь на ночь сильно не закрывай, — велела Зинаида. — И дверь на крючок.

— Командирша.

— А ты слушай.

Она уехала перед сумерками.

Лёха долго стоял у калитки, пока телега не скрылась за поворотом. Потом вернулся во двор, запер ворота, прошёлся вдоль забора. Проверил сарай. Заглянул в сени. Постоял у крыльца.

Вечер был тихий.

Слишком тихий.

В городе тишины не бывает. Там всегда кто-то идёт, кашляет, хлопает дверью, заводит мотор, ругается, смеётся, стучит каблуками по лестнице. А здесь тишина лежала на земле тяжело и ровно, как мокрое сукно.

За огородами темнел луг.

Дальше была речка.

Лёха не смотрел туда долго. Сам себе не позволял. Сплюнул, вошёл в дом и плотно закрыл дверь.

Он растопил печь, поужинал хлебом, салом и картошкой, налил себе полстакана. Выпил не спеша. Потом ещё немного. Не для храбрости, сказал он себе, а для сна.

Сон не шёл.

Дом жил своей ночной жизнью. Остывала печь. Потрескивали брёвна. Где-то под полом скреблась мышь. За окном ветер трогал ставень.

Лёха лежал на спине, смотрел в потолок и думал о всякой ерунде. О крыше. О заборе. О том, что надо бы привезти гвоздей. О том, что весной перекопать огород. О том, что старый колодец надо чистить.

Потом зачем-то вспомнил сеновал.

Тот самый, у дяди Фёдора. Золотые щели в досках. Сухое сено. Три ладони, сложенные одна на другую.

Вернёмся втроём.

Лёха резко повернулся на бок.

— Чушь, — сказал он вслух.

Голос прозвучал в комнате чужим.

Он закрыл глаза.

И тогда услышал стук.

Не громкий.

Один удар.

Тук.

Лёха открыл глаза.

Полежал.

Дом молчал.

Он уже почти решил, что это где-то треснула доска, когда стук повторился.

Тук.

На этот раз явственно.

В дверь.

Лёха сел.

Сердце неприятно толкнулось в грудь. Не сильно, но резко, как будто кто-то ткнул изнутри пальцем.

— Кто там?

Тишина.

Он спустил ноги на холодный пол, нащупал сапоги. Не торопясь встал. Мужик он был уже не молодой, но крепкий. Плечи широкие, руки сильные. Испугаться какого-то ночного стука — смешно.

Он взял с лавки топор.

Не потому что испугался.

Просто так спокойнее.

— Кто? — повторил он громче.

Ответа не было.

За дверью стояла ночь.

Лёха снял крючок и распахнул дверь.

На крыльце никого.

Двор был пуст. Луна висела над сараем мутная, распухшая, будто её вынули из воды и забыли вытереть. Забор чернел неровной полосой. Калитка закрыта. Ворота на засове.

— Эй! — крикнул Лёха.

Голос ушёл в темноту и пропал.

Никто не отозвался.

Он постоял, прислушиваясь. Ветер. Где-то далеко собака брехнула и тут же смолкла. Из луга тянуло сыростью.

Лёха уже хотел закрыть дверь, когда заметил пятно у порога.

Тёмное.

Неровное.

Он присел.

Доски крыльца были мокрые.

Не все. Только две. Будто на них кто-то стоял босыми ногами, и с него стекала вода. На краю ступени блестела тонкая грязная струйка. От неё пахло не дождём и не талым снегом.

Тиной.

Речной тиной.

Лёха выпрямился так быстро, что в спине хрустнуло.

— Кто тут шляется? — заорал он уже зло. — Выходи, сволочь!

Ночь молчала.

Он сошёл с крыльца во двор, подняв топор. Земля под сапогами была сухая. Дождя не было давно. Пыль лежала у калитки светлой полосой. И на этой пыли он увидел след.

Босой.

Человеческий.

Один.

Потом второй.

Следы шли от калитки к дому.

Не от дороги. Не от сарая. Не из огорода.

Именно от калитки.

Лёха сделал несколько шагов, наклонился. Следы были мокрые, чёткие, будто человек только что вышел из реки и прошёл по сухой земле. Пальцы отпечатались ясно. Пятка глубокая. Нога небольшая. Не детская, но и не мужицкая широкая.

Лёха сглотнул.

Он вдруг вспомнил Матвеевы ступни: узкие, с длинными пальцами, всегда в глине, всегда холодные после воды. Вспомнил, как тот выходил на берег без шума, будто не вылезал из реки, а сама вода его отпускала.

— Нет, — сказал Лёха.

Слово вышло хриплым.

Он пошёл к калитке. Следы обрывались у неё. За калиткой дорога была сухая и пустая. Ни справа, ни слева — ничего.

Он открыл калитку, вышел на улицу.

Пусто.

Только лунный свет на пыли.

Лёха стоял посреди дороги в одной рубашке, с топором в руке, и впервые за много лет почувствовал себя не взрослым мужиком, не отцом, не дедом, не заводским мастером, а тем самым мальчишкой, который бежал по лесу и слышал за спиной воду.

Не взрывы.

Не крики.

Воду.

Он вернулся в дом, запер дверь на крючок, потом ещё подпер её лавкой. Сел у печи. Топор положил на колени.

Спать он больше не ложился.

Утром следов не было.

Ни у калитки, ни во дворе, ни на крыльце.

Только доски у порога чуть потемнели, а в щели между ними застрял крошечный комоч зелёной тины.

Лёха долго ковырял его ножом.

Потом бросил в печь.

Тина зашипела.

Он уехал в город в тот же день.

Зинаида встретила его на пороге.

— Ты чего такой?

— Какой?

— Серый.

— Печь дымит. Наглотался.

— Врёшь.

— Зина, не начинай.

Она не начала. Только смотрела на него внимательно, как женщины умеют смотреть, когда уже всё поняли, но ждут, сойдёт ли муж ещё раз.

Через неделю он вернулся в деревню.

Сам не знал зачем.

Можно было продать дом. Можно было сказать, что надоел ремонт, что здоровье не то, что внуки требуют внимания, что в городе удобнее. Но Лёха упрямо собрал сумку, взял гвозди, банку краски, старую фуфайку и поехал.

Днём всё было обычным.

Он чинил забор, ругался на кривые доски, пил чай у соседки Марфы, слушал новости. Марфа рассказывала, кто умер, кто женился, у кого корова отелилась, кто письмо получил от сына.

— А про тот дом ты знаешь? — вдруг спросила она.

Лёха поднял глаза.

— Какой?

— Да твой.

— А что с ним?

Марфа замялась.

Она была уже старая, маленькая, сухая, с лицом, похожим на печёное яблоко. Глаза у неё, однако, оставались острые.

— Ничего. Только место там... беспокойное.

— Это ещё почему?

— Близко к воде.

— Полдеревни близко к воде.

— Не так близко.

Лёха хмыкнул.

— Марфа, ты мне байки не рассказывай. Я тут вырос.

— Вырос, — согласилась она. — Потому и говорю.

Он хотел уйти, но она вдруг спросила:

— Ты ведь с Матвеем дружил?

Руки у Лёхи сами сжались.

— С каким Матвеем?

Марфа посмотрела на него так, что стало ясно: старуха не купилась.

— С тем самым. Который в войну пропал.

— Утонул он.

— Тела-то не нашли.

— Тогда многих не нашли.

— Многих. Только про многих потом что-то слышно было. А про него — будто вода закрылась.

Лёха поставил кружку на стол.

— К чему ты это?

Марфа подалась ближе.

— Мать его до самой смерти говорила, что он приходил.

Лёха не ответил.

— Уже после бомбёжки, — продолжила Марфа тише. — Не в тот день. Позже. Может, через неделю. Может, через две. Тогда всё перемешалось, кто дни считал? Ночью кто-то стучал к ней в окно. Она вышла — никого. А на завалинке мокро. И камень лежит.

У Лёхи пересохло во рту.

— Какой камень?

— Да кто ж знает. Камень и камень.

— С белой полоской?

Марфа замолчала.

Теперь уже она смотрела на него настороженно.

— Откуда знаешь?

Лёха встал.

— Надо идти.

— Погоди.

— Дел много.

— Погоди, говорю.

Она тяжело поднялась, пошла к старому сундуку, долго рылась в тряпках, бумагах, узелках. Вернулась с тонкой тетрадкой в тёмной обложке.

— Это мне его мать перед смертью отдала. Сказала: Выбрось. А я не смогла. Грех, может. Или жалко.

— Что это?

— Её записи. Она после того случая будто разговаривать перестала. Всё писала. Не каждый день. Так, когда совсем худо было.

Лёха не хотел брать тетрадь.

Но рука взяла.

Бумага была старая, жёлтая, пахла пылью, печью и сухой травой. Почерк плясал, местами расплывался.

Марфа открыла на заложенной странице.

— Вот.

Лёха прочитал.

Ночью опять стучал. Три раза. Не открывала. Утром у порога мокро. Нашла камень Матвеев. Тот, с жилкой. Я его в печь бросила, а он утром снова на лавке. Может, ум схожу. Господи, сохрани.

Лёха почувствовал, как холод медленно прошёл от шеи к пояснице.

— Это она когда писала?

— В сорок первом. Осенью.

— Осенью?

— Ага.

Он перечитал строчки.

В сорок первом. Осенью.

Матвей исчез летом. В день бомбёжки. Если он утонул, если его унесло течением, если тело так и не нашли, то осенью камня быть не могло. Мать могла ошибиться. Могла найти другой. Могла сойти с ума от горя.

Но Лёха знал тот камень.

И знал Матвея.

Матвей не расставался с ним никогда.

— Дальше есть? — спросил он.

Марфа кивнула.

Перевернула страницу.

Видела его у реки. Стоял за корягой. Худой. Волосы по лицу. Кричала — ушёл в камыши. Может, не он. Может, глаза мои дурные. Но рубаха была его. Разорвана на плече.

Лёха сел обратно.

Ноги вдруг стали тяжёлыми.

Перед глазами вспыхнуло: вода, глина, чёрная коряга, Матвей, который оборачивается и говорит: Она сегодня не спит.

— Почему никто не сказал? — спросил Лёха.

Марфа усмехнулась без радости.

— Кому тогда говорить? Немцы близко, похоронки идут, деревня горит, люди без крыш. Баба сына потеряла — ну и чудится ей. Так сказали бы.

— А ты?

— А я один раз сама видела.

Лёха медленно поднял голову.

— Кого?

Марфа перекрестилась.

— Не знаю.

— Говори.

— Зимой это было. Уже снег лёг. Я шла от колодца. Смотрю — возле их избы мальчишка стоит. Без шапки. В одной рваной рубахе. Босой.

— Зимой?

— Зимой.

— И?

— Я крикнула. Он повернулся. Лица не разглядела. Темно было. Только глаза... — Марфа запнулась. — Не детские глаза были.

Лёха молчал.

— Потом он пошёл к речке, — сказала она. — Не побежал. Пошёл. По снегу. А следов за ним почти не оставалось. Только мокрые пятна.

В комнате стало тесно.

Лёха закрыл тетрадь.

— Оставь себе, — сказала Марфа.

— Нет.

— Бери. Раз дом купил — значит, тебе и знать.

— Я не хочу это знать.

— А поздно.

Он вышел от неё уже под вечер.

Тетрадь всё-таки взял. Сунул за пазуху и пошёл к дому, чувствуя, как она давит на грудь сильнее любого камня.

Всю дорогу он убеждал себя, что старуха выжила из ума.

Матвеина мать сошла с ума от горя.

Марфа придумала.

Тетрадь — бабьи бредни.

Камень — просто камень.

Следы — чья-то дурная шутка.

Но чем ближе он подходил к дому, тем явственнее слышал за лугом речку.

Она шумела негромко.

Будто смеялась себе под нос.

Ночью он снова не спал.

На столе стояла лампа. Рядом лежала тетрадь. Лёха выпил, но хмель не брал. Он сидел, уставившись на дверь, и слушал.

Час.

Другой.

Третий.

Сначала ничего не было.

Потом где-то далеко, у реки, прокричала птица.

Потом ветер тронул крышу.

Потом в сениях тихо капнуло.

Кап.

Лёха поднял голову.

Кап.

Он встал.

На полу у двери появилась вода.

Тонкая тёмная полоска медленно вползала в комнату из-под порога. Не лужа — след. Как будто за дверью кто-то стоял, мокрый насквозь, и вода стекала с него вниз, просачивалась в щель.

Лёха взял топор.

— Я знаю, что ты там, — сказал он.

Слова дрогнули, и он возненавидел себя за это.

За дверью было тихо.

— Думаешь, испугаюсь?

Тихо.

— Не испугаюсь.

Тогда раздался стук.

Три удара.

Тук.

Тук.

Тук.

Не громко.

Почти вежливо.

Так стучат не чужие.

Так стучат те, кто вернулся домой.

Лёха не двинулся.

Сердце билось глухо, тяжело. В голове вдруг всплыло не лицо Матвея, а его рука — тонкая, мокрая, с глиной под ногтями. Та рука, которую Миша хотел схватить. Или не успел. Или Лёха не дал.

— Чего тебе надо? — спросил он.

За дверью кто-то вдохнул.

Или это ветер.

— Лёха.

Он не сразу понял, что услышал имя.

Голос был тихий, сорванный. Не старческий, не детский. Будто его долго держали под водой, а потом вынули, но не до конца.

— Лёха.

Топор едва не выпал из рук.

— Кто там?

Ответ пришёл не сразу.

За дверью хлопнула вода.

Потом голос сказал:

— Ты обещал вернуться.

Лёха отступил на шаг.

— Нет.

— Втроём.

— Нет.

— Ты держал его.

Лёха закрыл глаза.

На миг он снова оказался там, в сорок первом. Жара. Речка. Взрывы. Миша рвётся назад. Лёха хватает его за плечи, тащит, орёт: Не лезь! Нас тоже убьёт! Вода кипит от осколков. Где-то у коряги мелькает рука.

Или ему всегда только казалось, что мелькала?

— Я спасал Мишку, — прошептал Лёха.

За дверью стало тихо.

Потом голос сказал:

— А меня?

Лёха шагнул к двери, сам не понимая зачем. Может, хотел распахнуть её и увидеть пьяного соседа, мальчишек, вора, кого угодно. Живого человека. Любого.

Рука легла на крючок.

И тут снаружи послышалось ещё кое-что.

Не голос.

Кашель.

Сухой, надсадный, человеческий.

Так не кашляет мертвец.

Так кашляет тот, кто долго болел. Тот, у кого внутри застрял холод. Тот, кто выжил, но заплатил за это слишком дорого.

Лёха замер.

Кашель повторился.

Потом — шорох. Медленный шаг по крыльцу. Второй. Третий. Будто человек уходил.

Лёха сорвал крючок и распахнул дверь.

Никого.

На крыльце лежал камень.

Серый.

Гладкий.

С белой прожилкой.

Лёха смотрел на него, не дыша.

Потом медленно поднял глаза.

От крыльца через двор тянулись мокрые следы. Они шли к калитке, дальше — к лугу, к темноте, к речке.

Но теперь следы были другими.

Не босыми.

На влажной земле отпечатался грубый след старого сапога.

Один сапог был явно больше другого.

И Лёха вдруг вспомнил: после бомбёжки деревней ходили слухи, что в лесу видели худого мальчишку в чужих рваных сапогах. Голодного. Дикого. Он будто бы просил хлеба у переправы, а когда его окликнули по имени, убежал.

Тогда Лёха решил, что это бред.

Тогда всем что-то мерещилось.

Тогда легче было поверить, что Матвей утонул.

Потому что мёртвый не спрашивает.

Мёртвый не помнит.

Мёртвый не приходит ночью к двери.

Лёха нагнулся и поднял камень.

Он был холодный.

Но не ледяной.

Будто его только что держали в живой ладони.

Из-за луга донёсся тихий плеск.

Лёха стоял на крыльце до рассвета.

А утром написал Мише письмо.

Не длинное. Не страшное. Почти будничное.

Миша, приезжай. Надо поговорить. Про Матвея. Кажется, мы тогда не всё видели.

Он хотел поставить точку, но рука сама вывела ещё одну строку:

И, может быть, он не умер в тот день.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.